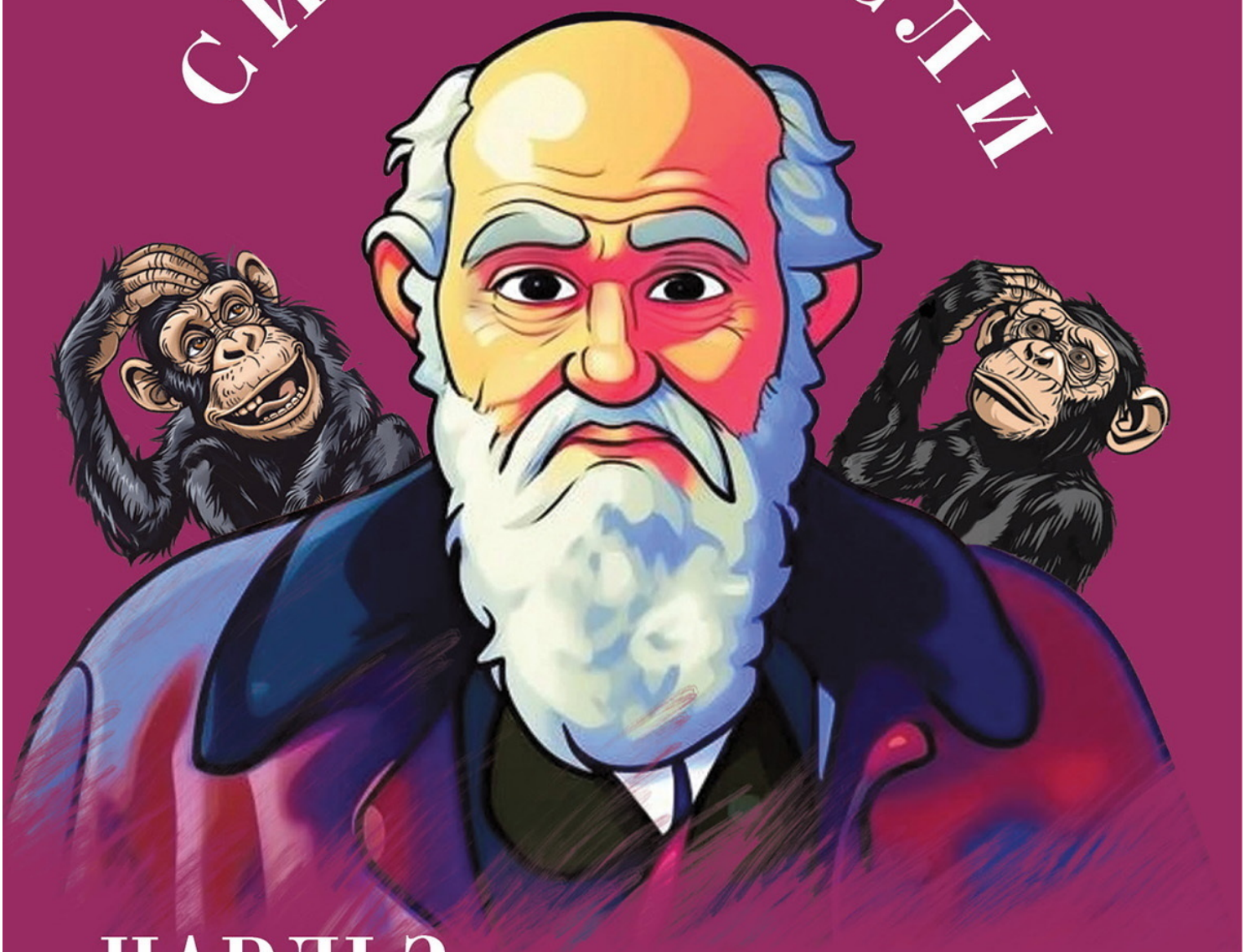
СИЛА МЫСЛИ



ЧАРЛЬЗ ДАРВИН

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ, СЕБЕ И ОБЕЗЬЯНКАХ

Сила мысли

Чарльз Дарвин

Естественный отбор. О происхождении видов, себе и обезьянках

«Алисторус»
1859

УДК 53
ББК 22.3

Дарвин Ч. Р.

Естественный отбор. О происхождении видов, себе и обезьянках / Ч. Р. Дарвин — «Алисторус», 1859 — (Сила мысли)

ISBN 978-5-00269-265-1

В 1859 г. Чарльз Дарвин опубликовал одну из самых знаменитых и противоречивых книг за всю историю науки - «Происхождение видов путем естественного отбора». Дарвин высказал предположение, что группы организмов постепенно развиваются благодаря естественному отбору. Теория Дарвина была разработана так тщательно, что утвердилась в науке невероятно быстро, несмотря на град обрушившихся на нее нападок. Удивительно, но и по сей день теория эволюции подвергается ожесточенной критике. Благодаря этой книге вы сможете составить собственное мнение о теории, ставшей началом всей современной науки. Книга дополнена автобиографией Чарльза Дарвина «Воспоминания о развитии своего ума и характера», в которой он рассказал о том, как пришел ко всем главным научным открытиям своей жизни, а также книгу дополняет важнейшая работа ученого «Образование плесени в связи с деятельностью червей», в которой даются ответы на некоторые научные вопросы, поставленные в работе «Происхождение видов». В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 53
ББК 22.3

ISBN 978-5-00269-265-1

© Дарвин Ч. Р., 1859
© Алисторус, 1859

Содержание

Воспоминания о развитии моего ума и характера 7
Детство 8
Эдинбургский университет 17
Кембридж 21
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Чарльз Дарвин
Естественный отбор. О происхождении видов, себе и обезьянках



Серия «Сила мысли»

издательство
РОДИНА

© К. А. Тимирязев, М. А. Мензбир, А. П. Павлов, А. И. Петровский., 2026.
© ООО «Издательство Родина», 2026

Воспоминания о развитии моего ума и характера

Когда один немецкий издатель обратился ко мне с просьбой рассказать о развитии моего ума и характера и дать краткий очерк моей автобиографии, я подумал, что такая попытка развлечет меня и, быть может, представит интерес для моих детей и внуков. Знаю, что мне самому было бы очень интересно прочитать даже самый краткий и скучный очерк о складе ума моего деда, написанный им самим, – о чем он думал, что делал и как работал. Нижеследующий рассказ о самом себе я старался написать так, словно бы меня уже не было в живых и я оглядывался бы на свою жизнь из другого мира. И не скажу, чтобы это было для меня трудно, ибо жизнь моя почти закончена. О стиле изложения я совершенно не заботился.

Детство

Я родился в Шрусбери 12 февраля 1809 года. Мне приходилось слышать от отца, что, по его мнению, люди с сильной памятью обычно обладают воспоминаниями, уходящими далеко назад, к очень раннему периоду их жизни. Не так обстоит дело со мною, ибо самое раннее мое воспоминание относится лишь к тому времени, когда мне было четыре года и несколько месяцев, – мы отправились тогда на морские купанья близ Абергела, и я помню, хотя и очень смутно, некоторые события и места, связанные с пребыванием там.

Моя мать умерла в июле 1817 года, когда мне было немногим более восьми лет, и странно, я почти ничего не могу вспомнить о ней, кроме кровати, на которой она умерла, ее черного бархатного платья и ее рабочего столика какого-то необычайного устройства. Думаю, что это забвение моих воспоминаний о ней возникло отчасти благодаря моим сестрам, которые были так глубоко опечалены ее смертью, что никогда не могли говорить о ней или упоминать ее имя, а отчасти – из-за болезненного состояния, в котором она находилась перед смертью. Весною того же года меня отдали в школу для приходящих учеников в Шрусбери, в которой я пробыл в течение одного года. До того, как я начал ходить в школу, со мной занималась моя сестра Каролина, но я сомневаюсь в том, шли ли эти занятия успешно. Мне рассказывали, что я проявлял в учении гораздо меньше сообразительности, чем моя младшая сестра Кэтрин, и мне думается, что во многих отношениях я не был послушным мальчиком. Каролина была в высшей степени добра, способна и усердна, но она проявляла слишком большое усердие в стремлении исправить меня, ибо, несмотря на то, что прошло так много лет, я и сейчас отчетливо помню, как, входя в комнату, где она находилась, я говорил себе: «А за что она сейчас начнет порицать меня?» И я упрямо решил отнестись с полным безразличием ко всему, что бы она ни сказала.

К тому времени, когда я стал посещать школу для приходящих учеников, у меня уже отчетливо развился вкус к естественной истории и особенно к собиранию коллекций. Я пытался выяснить названия растений и собирал всевозможные предметы: раковины, печати, монеты и минералы. Страсть к коллекционированию, приводящая человека к тому, что он становится натуралистом-систематиком, ценителем произведений искусства или скупцом, была во мне очень сильной и, несомненно, врожденной, так как ни мои сестры, ни мой брат никогда не имели этой склонности.

Одно небольшое событие этого года прочно запечатлелось в моей памяти; полагаю, оно запомнилось так сильно потому, что впоследствии тяжко мучило мою совесть. Событие это любопытно в том отношении, что, как оно показывает, в этом раннем возрасте меня, по-видимому, интересовала изменчивость растений! Я сказал одному маленькому мальчику (кажется, это был Лейтон, ставший впоследствии известным лихенологом и ботаником), что могу выращивать полиантусы и примулы различной окраски, поливая их теми или иными цветными жидкостями; это была, конечно, чудовищная выдумка, я никогда даже не пытался сделать что-либо подобное. Могу здесь признаться также, что в детстве я нередко сочинял заведомый вздор и притом всегда только для того, чтобы вызвать удивление окружающих. Однажды, например, я сорвал с деревьев, принадлежавших моему отцу, много превосходных фруктов, спрятал их в кустах, а затем сломя голову побежал распространять новость о том, что я обнаружил склад краденых фруктов.

Около этого времени, а быть может, в несколько более раннем возрасте, я крал по временам фрукты с целью самому полакомиться ими, и один из примененных мною способов не лишен был изобретательности. Огород, который вечером запирали на замок, был окружен высокой стеной, но по соседним деревьям я легко взбирался на гребень стены. Затем я укреплял длинную палку в отверстии на дне достаточно вместительного цветочного горшка и тащил горшок кверху, подводя его к готовым упасть персикам и сливам, которые при этом падали в

горшок, и таким образом желанная добыча была обеспечена. Помню, будучи еще очень маленьким мальчиком, я воровал яблоки в саду, чтобы снабжать ими нескольких мальчиков и молодых людей, живших в коттедже по соседству, но прежде чем отдать им краденые плоды, я хвастливо показывал им, как быстро я умею бегать, и, как это ни удивительно, я совершенно не понимал того, что изумление и восторг по поводу моей способности быстро бегать они выражали с той только целью, чтобы получить яблоки. Но я хорошо помню, в какое восхищение приводило меня их заявление, что они никогда не видели мальчика, который бы так быстро бегал!

Отчетливо помню только еще одно событие, относящееся к году моего пребывания в школе м-ра Кейса для приходящих учеников: похороны солдата-драгуна. Удивительно, как ясно я еще и сейчас представляю себе лошадь, к седлу который были подвешены пустые сапоги и карабин драгуна, и стрельбу над могилой. Эта картина глубоко взволновала поэтическое воображение, каким только я обладал в то время.

Когда я кончил школу, я не был для моих лет ни очень хорошим, ни плохим учеником; кажется, все мои учителя и отец считали меня весьма заурядным мальчиком, стоявшим в интеллектуальном отношении, пожалуй, даже ниже среднего уровня. Я был глубоко огорчен, когда однажды мой отец сказал мне: «Ты ни о чем не думаешь, кроме охоты, собак и ловли крыс; ты опозоришь себя и всю нашу семью!» Но отец мой, добрейший в мире человек, память о котором мне бесконечно дорога, говоря это, был, вероятно, сердит на меня и не совсем справедлив.

Я могу добавить здесь несколько страниц о моем отце, который во многих отношениях был замечательным человеком.

Около 6 футов и 2 дюймов ростом, он был широк в плечах и весьма тучен; более крупного человека я никогда не встречал. Когда он в последний раз взвешивался, вес его составлял 24 стоуна[1], но после того он еще много прибавил в весе. Главными чертами его характера были наблюдательность и сочувственное отношение к людям; я не знаю никого, кто обладал бы этими качествами в большей мере, чем он, или хотя бы в такой же мере. Он сочувственно относился не только к чужим несчастьям, но и в еще большей степени – к радостям всех окружающих его людей. Именно поэтому он всегда старался придумать, каким способом доставить удовольствие другим, и – хотя терпеть не мог расточительности – часто совершал великодушные поступки. Однажды, например, к нему пришел м-р Б., мелкий фабрикант в Шрусбери, и сказал, что ему [м-ру Б.] грозит банкротство, если он не сможет немедленно занять у кого-либо 10 000 фунтов; он не в состоянии представить гарантию, имеющую юридическую силу, но может привести ряд доводов, доказывающих, что в конце концов он вернет свой долг. Отец выслушал его и, обладая способностью интуитивно понимать характер людей, почувствовал уверенность в том, что этому человеку можно доверять. Хотя требуемая сумма была очень велика для отца в те годы (он был тогда еще молод), он дал ее взаймы и через некоторое время получил свои деньги обратно.

Его отзывчивость и была, я думаю, причиной того, что он умел завоевать безграничное доверие и вследствие этого пользовался большим успехом как врач. Он начал практиковать, когда ему не было еще двадцати одного года, но уже в течение первого же года его заработков хватало на то, чтобы оплачивать содержание двух лошадей и слуги. В следующем году практика его еще более выросла, и на таком уровне она удерживалась около шестидесяти лет, после чего он прекратил врачебную деятельность. Его огромный успех как врача был тем более поразителен, что сначала, как он рассказывал мне, он до такой степени ненавидел свою профессию, что если бы мог рассчитывать на самые жалкие средства или если бы его отец предоставил ему хоть какой-нибудь выбор, ничто не заставило бы его заняться ею. В последние годы жизни

[1] 152 кг.

даже самая мысль об операции вызывала у него отвращение, и он почти не выносил вида кровоточащего человека; этот страх был передан им и мне, и я помню, с каким ужасом читал я в школьные годы о том, как Плиний (кажется, он) истек кровью в теплой ванне. Отец рассказывал мне о двух старинных случаях, связанных с кровотечением. Один из них произошел с ним, когда, будучи очень молодым человеком, он стал масоном. Его приятель масон, притворяясь, будто он понятия не имеет о том сильном волнении, которое вызывает у отца вид крови, как бы непреднамеренно сказал ему, когда они направлялись на собрание [масонской ложи]: «Я полагаю, что вас не обеспокоит потеря нескольких капель крови?» Когда отца принимали в члены [ложи], ему завязали глаза и отвернули вверх рукава пиджака. Не знаю, совершается ли и сейчас подобная церемония. Отец упоминал об этом случае как о превосходном примере силы воображения, ибо он отчетливо чувствовал, как кровь тонкой струйкой стекала по его руке, и едва мог поверить своим глазам, когда затем не мог обнаружить на руке даже следа укола.

Один опытный лондонский мясник, работавший на бойнях, пришел однажды за советом к моему деду, и в это время к тому [в кабинет] внесли другого тяжело больного человека; мой дед решил тут же сделать ему кровопускание с помощью присутствовавшего здесь лекаря. Мясника попросили держать руку больного, но он извинился и вышел из комнаты. По окончании визита он объяснил моему деду, что хотя, как он полагает, он своими собственными руками убил больше животных, чем кто-либо другой в Лондоне, однако, – как ни покажется странным, – он несомненно лишился бы чувств при виде крови пациента.

Способность отца внушать доверие побуждала многих его пациентов, особенно дам, советоваться с ним о всяческих своих бедах, словно с каким-нибудь духовником. Он говорил мне, что они всегда начинают с неопределенных жалоб на свое здоровье, но опыт позволял ему очень быстро догадываться, о чем в действительности идет речь. Тогда он внушал им, что болезнь их воображаемая, после чего они изливали пред ним все свои жизненные печали и уже больше ничего не говорили о своих телесных недугах. Обычным объектом жалоб были семейные ссоры. Если к нему обращались мужья с жалобами на своих жен и ссора казалась серьезной, отец рекомендовал им (и его совет всегда достигал цели, если только муж следовал ему буквально, что бывало не во всех случаях) поступать следующим образом. Муж должен был сказать своей жене: он очень огорчен тем, что их совместная жизнь не идет счастливо; он уверен, что его жена была бы счастливее, если бы они жили раздельно; он ни в малейшей степени не считает ее в чем-либо виноватой (вот этот пункт муж чаще всего отказывался принять); он не будет выражать упреков по ее адресу никому из ее родственников или друзей; и, наконец, он готов выделить ей настолько большую часть своих средств, насколько это в его возможностях. Затем он должен был попросить ее обдумать это предложение. Так как придраться было не к чему, ее раздражение проходило, и вскоре она вынуждена была понять, в каком неудобном положении она оказалась: она не могла противопоставить никаких обвинений, а развод был предложен не ею, а мужем. Как правило, дама начинала умолять своего мужа не настаивать на разводе и в дальнейшем обычно вела себя гораздо лучше.

Благодаря искусству отца завоевывать доверие, ему приходилось выслушивать немало необычных признаний о несчастиях и виновности. Не раз отец говорил, что знал много несчастных жен. В иных случаях мужья и жены прекрасно жили друг с другом двадцать-тридцать лет, а затем начинали жестоко ненавидеть друг друга; отец объяснял это тем, что, когда их дети вырастали, родители теряли то общее, что прежде связывало их.

Но самой замечательной способностью отца было его умение определять характер и даже читать в мыслях людей, с которыми он сталкивался хотя бы на короткое время. Мы знали много примеров этой его способности, и некоторые из них казались почти сверхъестественными.

Эта способность всегда спасала моего отца (за единственным исключением, но и в этом случае характер того человека был вскоре разоблачен) от дружбы с недостойными людьми. В

Шрусбери приехал какой-то неизвестный священник, производивший впечатление богатого человека; все наносили ему визиты, и он был приглашен во многие дома. Отец также нанес ему визит, но, вернувшись домой, сказал сестрам, чтобы они ни в коем случае не приглашали ни его, ни членов его семьи к нам в дом, так как убежден, что этому человеку нельзя доверять. Через несколько месяцев священник неожиданно исчез, оказавшись кругом в долгах, и выяснилось, что он мало чем отличается от самого обыкновенного мошенника. А вот пример доверия, пойти на которое рискнули бы очень немногие. Однажды к отцу пришел какой-то совершенно незнакомый ему джентльмен, ирландец, и сказал, что он потерял кошелек и что для него было бы большим неудобством дожидаться в Шрусбери денежного перевода из Ирландии. Он просил отца одолжить ему 20 фунтов, и отец тотчас же сделал это, так как был уверен, что рассказ не вымышлен. Как только наступил срок, необходимый для того, чтобы письмо из Ирландии могло дойти до Шрусбери, письмо действительно было получено; с самыми пространными выражениями благодарности ирландец писал, что прилагает к письму кредитный билет Английского банка в 20 фунтов, однако никакого кредитного билета в письме не было. Я спросил отца, не заставило ли это его поколебаться в своем мнении, но он ответил: «Ни в малейшей степени!» И действительно, на другой день от ирландца было получено второе письмо, в котором он всячески просил извинить его за то, что он позабыл (как и подобает истинному ирландцу) вложить кредитный билет в письмо, посланное накануне.

Один родственник моего отца просил у него совета относительно своего сына, который был необычайно ленивым и не хотел приняться ни за какое дело. Отец сказал: «Полагаю, что ленивый молодой человек надеется на то, что я завещаю ему большую сумму денег. Скажите ему, что, как я сам заявил вам, я не оставлю ему ни одного пенни». Отец юноши со стыдом признался, что эта нелепая мысль действительно овладела его сыном, и спросил отца, каким образом он мог догадаться о ней, но отец ответил, что и сам совершенно не представляет себе, каким образом [у него возникла эта догадка].

Граф… привел к отцу своего племянника, душевнобольного, но очень спокойного поведения; болезнь молодого человека состояла в том, что он сам обвинял себя во всех преступлениях, какие только бывают под небесами. Беседуя впоследствии о больном с его дядей, отец сказал: «Я уверен, что ваш племянник действительно виновен… в отвратительном преступлении». И тогда граф… воскликнул: «Господи боже, доктор Дарвин, кто сказал вам об этом? Мы думали, что кроме нас ни одна душа об этом не знает!» Отец рассказал мне эту историю через много лет после того, как она произошла, и я спросил его, как отличил он правду от ложных самообвинений; он ответил мне – и этот ответ очень характерен для моего отца, – что не в состоянии объяснить это.

Нижеследующая история показывает, как тонко отец умел строить догадки. Лорд Шелборн, впоследствии первый маркиз Лансдаун, славился (как отмечает где-то Маколей) своим знанием европейских дел и очень гордился этим. Он обращался к отцу за медицинскими советами и не раз беседовал с ним о положении дел в Голландии. Отец изучал медицину в Лейдене; однажды он предпринял длительную прогулку по Голландии совместно с одним приятелем, который пригласил его зайти к знакомому священнику (будем называть его преподобный м-р А., так как я забыл его фамилию), женатому на англичанке. Отец был очень голоден, а на завтрак почти ничего не было, кроме сыра, которого он вообще не ел. Это удивило и огорчило престарелую леди, и она стала уверять отца, что сыр великолепный, его прислали ей из Бовуда, имения лорда Шелборна. Отца удивило, почему бы это ей присылали сыр из Бовуда, но он больше никогда не думал об этом, пока рассказанный эпизод не вспыхнул вдруг в его памяти много лет спустя, когда лорд Шелборн вел разговор о Голландии. И отец сказал: «Насколько я знал преподобного м-ра А., думаю, что это был очень способный человек, хорошо осведомленный о положении дел в Голландии». Отец заметил, как поразили эти слова лорда, который немедленно перевел разговор на другую тему. На следующее утро отец получил записку

от лорда, в которой тот писал, что отложил намеченную поездку и очень хотел бы повидать отца. Когда отец пришел к нему, лорд сказал: «Доктор Дарвин, и мне и преподобному м-ру А. чрезвычайно важно знать, каким образом вы раскрыли, что он является источником моих сведений о Голландии». Отцу пришлось объяснить в чем дело, и лорд Шелборн, как полагал отец, был чрезвычайно поражен дипломатическим искусством, с каким отец проверил свою догадку, потому что на протяжении многих лет после того он получал от лорда много любезных посланий через различных друзей. Думаю, что лорд рассказал эту историю своим детям, потому что много лет назад сэр Ч. Лайель спросил меня, почему маркиз Лансдаун (сын или внук первого маркиза) проявляет столь большой интерес ко мне, которого он никогда не видел, и к моей семье. Когда в клуб «Атеней» избирали сорок новых членов (сорок «воров», как их тогда называли), многие стремились попасть в число их, и хотя я никогда не просил об этом, лорд Лансдаун предложил мою кандидатуру и добился моего избрания. Если я не ошибаюсь в своем предположении, то по странной связи событий то обстоятельство, что мой отец полвека назад не стал есть сыра в Голландии, привело к избранию меня в члены клуба «Атеней».

В молодости отец составлял иногда короткие записи о некоторых примечательных событиях и разговорах и хранил эти записи в особом конверте.

Острая наблюдательность позволяла отцу с замечательным искусством предсказывать течение любой болезни, и он до мельчайших подробностей разрабатывал способы лечения ее. Мне рассказывали, что один молодой врач в Шрусбери, не любивший моего отца, постоянно говорил, будто применяемые им методы лечения совершенно ненаучны, но признавал, что его способность предсказывать исход болезни не имеет равной себе. Сначала, пока отец думал, что я стану врачом, он много рассказывал мне о своих пациентах. В прежние времена в качестве универсального метода лечения применялось обильное кровопускание, но мой отец утверждал, что оно приносит гораздо больше вреда, чем пользы; он советовал мне, если когда-нибудь я сам заболею, не разрешать ни одному врачу пускать мне кровь в количестве, превышающем самую малую дозу. Задолго до того, как брюшной тиф был признан особой болезнью, отец говорил мне, что под названном тифозной лихорадки смешивают два совершенно различных рода заболевания. Страстный враг пьянства, он был убежден, что в подавляющем большинстве случаев систематическое потребление алкоголя, хотя бы и в умеренных количествах, приносит вред как непосредственный, так и передающийся по наследству. Однако он допускал и приводил отдельные случаи, когда определенные лица могли в течение всей своей жизни пить много без каких-либо видимых дурных последствий для здоровья, и полагал, что часто он мог бы наперед сказать, кому это не принесет вреда. Сам он никогда в рот не брал ни капли какого бы то ни было алкогольного напитка. Последнее мое замечание напомнило мне об одном случае, показывающем, какую грубую ошибку может допустить свидетель даже при самых благоприятных обстоятельствах. Отец настойчиво убеждал одного джентльмена, фермера, не пить и, чтобы поощрить его, сказал, что сам он никогда не прикасается ни к чему спиртному. На это джентльмен возразил: «Э, нет, доктор, этот номер не пройдет! Хотя и очень любезно с вашей стороны, что вы говорите так для моей пользы, но я-то ведь знаю, что каждый вечер после обеда вы выпиваете большой стакан горячего джина с водой». Отец, конечно, спросил его, откуда он это знает, на что тот ответил: «Моя кухарка два или три года служила у вас помощницей поварихи и видела, как ваш лакей ежедневно готовил и относил вам джин и воду». Дело в том, что у отца была странная привычка пить после обеда горячую воду из очень высокого и объемистого стакана; лакей обыкновенно наливал в стакан сначала немного холодной воды, которую девушка и приняла за джин, а затем наполнял стакан кипятком из кухонного кипятильника.

Отец часто делился со мной множеством мелких наблюдений из своей медицинской практики, знание которых казалось ему полезным. Так, дамы часто горько плакали, рассказывая ему о своих тревогах, и это отнимало у него много драгоценного времени. Вскоре он

заметил, что если просить их взять себя в руки и успокоиться, то это всегда заставляет их плакать еще сильнее; поэтому в дальнейшем он всегда давал им поплакать, говоря, что слезы принесут им большое облегчение, чем что-либо другое, – и неизменно в результате этого они быстро переставали плакать, и он получал возможность выслушать то, что они имели сказать ему, и дать им совет. Если тяжело больные пациенты страстно стремились получить какую-либо странную и противоестественную пищу, отец спрашивал их, как пришла им в голову такая мысль; если они говорили, что сами не знают, он разрешал им попробовать эту пищу (что часто приводило к успеху), так как полагался на то, что больным свойственны своего рода инстинктивные желания; но если они отвечали, что слыхали, будто данная пища помогла кому-то другому, он наотрез отказывался санкционировать пользование ею.

Однажды отец привел любопытный маленький случай, характеризующий человеческую натуру. Когда он был совсем еще молодым человеком, его пригласили к одному джентльмену, занимавшему видное положение в Шропшире, на консультацию с семейным врачом. Старый врач сказал жене [этого джентльмена], что, судя по характеру заболевания, исход должен быть фатальным. Отец держался иного взгляда и утверждал, что джентльмен выздоровеет. Выяснилось (вероятно, после вскрытия трупа), что отец был во всех отношениях не прав, и он признал свою ошибку. Он был, конечно, убежден, что никогда больше эта семья не будет обращаться к нему за советами; однако через несколько месяцев вдова прислала за ним, дав отставку старому семейному врачу. Это так удивило отца, что он попросил одного знакомого вдовы разузнать, почему она вновь обращается к нему за советом. Вдова ответила этому знакомому, что «она не хочет больше видеть этого противного старого доктора, который с первого же разу сказал, что муж ее умрет, тогда как доктор Дарвин все время утверждал, что тот поправится!» В другом случае отец сказал жене больного, что муж ее несомненно умрет. Через несколько месяцев он встретил вдову [этого человека], очень здравомыслящую женщину, и она сказала ему: «Вы еще очень молоды, и позвольте мне посоветовать вам, всегда, пока это возможно, оставлять надежду близким родственникам, ухаживающим за больным. Вы привели меня в отчаяние, и с той минуты я потеряла силы». Отец говорил, что с тех пор он нередко считал наиболее важным поддерживать в интересах пациента надежду, а вместе с ней и бодрость у тех, кто за ним ухаживает. Иногда ему бывало трудно совместить это с правдой. Однако один старый джентльмен, м-р Пембертон, избавил его от подобного затруднения. М-р Пембертон пригласил его к себе и сказал: «На основании всего, что я сам видел и что слыхал о вас, думаю, что вы принадлежите к числу правдивых людей и что поэтому в случае, если я спрошу у вас об этом, вы прямо скажете мне, что я близок к смерти. Мне очень хотелось бы, чтобы вы лечили меня, но только при том условии, если вы пообещаете, что бы я ни говорил, всегда утверждать, что я не умираю». Отец, хотя и неохотно, согласился, но на том условии, что слова больного действительно не будут иметь никакого значения.

У отца была необычайная память, особенно на даты, и он помнил, даже в глубокой старости, дни рождений, бракосочетаний и смерти огромного множества жителей Шропшира. Однажды он сказал мне, что эта его способность раздражает его, ибо, раз услыхав какую-нибудь дату, он не может забыть ее, и поэтому ему часто вспоминается смерть многих его друзей. Благодаря такой сильной памяти он знал очень много любопытных историй, которые любил рассказывать, так как был вообще охотник поговорить. Обычно он бывал в хорошем настроении, любил посмеяться и шутил с каждым – часто со своими слугами – совершенно непринужденно, и вместе с тем он обладал искусством заставлять каждого в точности повиноваться его указаниям. Многие очень боялись его. Вспоминаю, как однажды отец со смехом рассказал нам, что уже несколько человек спрашивали его, не приходила ли к нему мисс Пигготт – одна важная старая леди в Шропшире; когда, наконец, он пожелал узнать, почему его спрашивают об этом, ему сказали, что мисс Пигготт, которую отец чем-то смертельно обидел, заявляла всем и каждому, что она явится к «этому старому жирному доктору и выложит ему без обиняков все, что

она о нем думает». И она действительно побывала у отца, но храбрость изменила ей, и трудно было бы представить себе более вежливую и дружескую манеру поведения. Мальчиком я как-то гостил в доме майора Б., жена которого была душевнобольной; каждый раз, как эта несчастная встречалась со мной, она впадала в состояние самого отчаянного страха, какой мне когда-либо приходилось видеть; она горько плакала и все снова и снова спрашивала меня: «Приедет ли твой отец?», но вскоре затем успокаивалась. Вернувшись домой, я спросил отца, почему она так напугана, и он ответил, что очень рад слышать это, так как намеренно запугал ее: он был уверен, что ее можно содержать в безопасности и в состоянии гораздо лучшего самочувствия, не лишая ее свободы, если ее супруг, как только она будет впадать в буйное состояние, сможет воздействовать на нее угрозой послать за доктором Дарвином; и на протяжении всей ее дальнейшей долгой жизни слова эти действовали безотказно.

Отец был очень чувствительным человеком, вследствие чего его крайне раздражали и мучили многие незначительные обстоятельства. Однажды, когда он был уже стар и не мог ходить, я спросил его, почему бы ему не покататься немного для моциона; он ответил мне: «Каждая поездка за пределы Шрусбери вызывает в моей памяти какое-нибудь событие, причиняющее мне боль». И все же по большей части он бывал в хорошем настроении. Его легко было рассердить, но так как доброта его не знала границ, его любили очень многие и любили от всей души.

Он был осторожен в делах и умел хорошо вести их – вряд ли когда-нибудь он потерял деньги, вложив их в какие-либо акции, и он оставил своим детям очень большое состояние. Помню одну историю, которая показывает, как легко возникают и распространяются самые вздорные слухи. М-р Э., помещик, принадлежавший к одной из самых старинных шропширских фамилий и состоявший главным компаньоном одного банка, покончил жизнь самоубийством. Для соблюдения формальностей послали за отцом, которому пришлось установить факт смерти. Для характеристики того, как велись в старину дела, упомяну мимоходом, что так как м-р Э. был весьма видным человеком и пользовался всеобщим уважением, никакого дознания в отношении трупа не было произведено. Вернувшись в Шрусбери, отец счел необходимым заехать в банк (где у него был счет), чтобы сообщить о случившемся руководителям банка, так как было весьма вероятно, что это самоубийство вызовет наплыв вкладчиков [желающих изъять свои деньги]. И вот широко распространился слух, будто отец явился в банк, забрал все свои деньги, вышел из банка, затем вернулся и сказал: «Могу совершенно точно сообщить вам, что м-р Э. покончил с собой», после чего удалился. В те времена было, кажется, распространено поверье, будто деньги, изъятые из банка, оказываются в безопасности только тогда, когда владелец их перешагнет через порог банка. В течение некоторого времени отец ничего не знал об этой истории, пока однажды директор банка не сказал ему, что отступил от своего неизменного правила – никогда никому не показывать чужих счетов – и показал нескольким вкладчикам книгу, в которую был занесен счет отца, чтобы доказать, что отец не изъял в тот день ни одного пенни. Было бы бесчестно со стороны отца воспользоваться сведениями, которые ему раскрывала его профессия, для своей личной выгоды. Тем не менее некоторые лица были в большом восхищении от мнимого поступка отца, и много лет спустя один джентльмен сказал отцу: «Ах, доктор, каким блестящим человеком дела вы оказались, когда так умно изъяли все свои деньги целыми и невредимыми из того банка!»

Отец не обладал научным складом ума и не пытался обобщать свои знания под углом зрения общих законов. Более того, он создавал особую теорию почти для каждого встречавшегося ему случая. Не думаю, что я много получил от него в интеллектуальном отношении, но в моральном отношении пример его должен был оказать большую пользу всем его детям. Одним из его золотых правил (хотя соблюдать это правило было нелегко) было следующее: «Никогда не вступай в дружбу с человеком, которого ты не можешь уважать».

Об отце моего отца – авторе «Ботанического сада» и других сочинений – я привел все факты, которые мне удалось собрать, в опубликованном мною жизнеописании его.

Рассказав так много о своем отце, я хочу добавить лишь несколько слов о моем брате и сестрах.

Мой брат Эразм обладал замечательно ясным умом, и у него были широкие и разнообразные интересы и знания в литературе, искусстве и даже в естественных науках. В течение короткого времени он увлекался коллекционированием и гербаризацией растений, и несколько дольше – химическими экспериментами. Он был очень приятен в обращении, а его остроумие часто напоминало мне остроумие писем и произведений Чарльза Лэмба. Он был очень добросердечен; с самого детства он был слаб здоровьем, вследствие чего был мало энергичен. Он не отличался веселостью, и часто, особенно в начале и в середине его зрелых лет, у него бывало плохое настроение. Он много читал, даже в детстве, и в наши школьные годы побуждал меня к чтению, давая мне книги. Однако по складу ума и интересам мы были так непохожи друг на друга, что, как мне кажется, в интеллектуальном отношении я мало чем обязан ему, как и моим четырем сестрам, черты характера которых были весьма различны и – у некоторых из них – очень своеобразны. В течение всей своей жизни все они были исключительно добры и нежны по отношению ко мне. Я склонен согласиться с Френсисом Гальтоном, который полагает, что воспитание и окружающая обстановка оказывают только небольшое влияние на характер человека и что в большинстве своем качества наши – врожденные.

Приведенный выше очерк характера моего брата был написан мною до того, как Карлейль дал его характеристику в своих «Воспоминаниях»; мне кажется, что эта характеристика мало соответствует истине и не представляет никакой ценности.

Восстанавливая в памяти – насколько я в состоянии сделать это, – черты моего характера в школьные годы, я нахожу, что единственными моими качествами, которые уже в то время подавали надежду на что-либо хорошее в будущем, были сильно выраженные и разнообразные интересы, большое усердие в осуществлении того, что интересовало меня, и острое чувство удовольствия, которое я испытывал, когда мне становились понятными какие-либо сложные вопросы или предметы. С Евклидом меня познакомил частный учитель, и я отчетливо помню то глубокое удовлетворение, которое доставили мне ясные геометрические доказательства. Так же отчетливо помню я, какое наслаждение мне доставил мой дядя (отец Френсиса Гальтона), объяснив мне устройство нониуса в барометре. Что касается различных интересов, не имеющих отношения к науке, то я любил читать разнообразные книги и часами просиживал за чтением исторических драм Шекспира, причем обычно я располагался в глубокой амбразуре окна старинного здания школы. Читал я также произведения и других поэтов – только что опубликованные тогда поэмы Байрона и Вальтера Скотта и «Времена года» Томсона. Упоминаю об этом потому, что в позднейшие годы моей жизни я, к великому моему сожалению, совершенно утратил вкус ко всякой поэзии, включая и Шекспира. Говоря об удовольствии, которое доставляла мне поэзия, могу прибавить, что в 1822 году, во время поездки верхом по окраинам Уэльса, во мне впервые пробудилась способность наслаждаться картинами природы, и эта способность сохранилась во мне дольше, чем способность к какому-либо другому эстетическому наслаждению.

В ранние годы школьной жизни я зачитывался принадлежавшей одному моему товарищу книгой «Чудеса мироздания» («The Wonders of the World») и обсуждал с другими мальчиками достоверность различных сведений, содержавшихся в этой книге; думаю, что она-то впервые и заронила во мне желание совершить путешествие в дальние страны, что в конце концов и осуществилось благодаря моему плаванию на «Бигле». В конце пребывания в школе я стал страстным любителем ружейной охоты, и мне кажется, что едва ли кто-нибудь проявил столько рвения к самому святому делу, сколько я – к стрельбе по птицам. Хорошо помню, как я застрелил первого бекаса, – возбуждение мое было так велико, руки мои так сильно дрожали, что я

едва в состоянии был перезарядить ружье. Эта страсть продолжалась долго, и я стал отличным стрелком. Во время пребывания в Кембридже я упражнялся в меткости, вскидывая ружье к плечу перед зеркалом, чтобы видеть, правильно ли я прицелился. Другой и притом лучший прием состоял в том, что, наложив на боек ударника пистон, я стрелял в зажженную свечу, которой размахивал товарищ; если прицел был взят верно, то легкое дуновение воздуха гасило свечу. Взрыв пистонов сопровождался сильным треском, и мне передавали, что наставник колледжа как-то заметил по этому поводу: «Что за странное дело! Похоже на то, что мистер Дарвин целыми часами щелкает бичом у себя в комнате: я часто слышу щелканье, когда прохожу под его окнами».

Среди товарищей по школе у меня было много друзей, которых я горячо любил, и я думаю, что мои привязанности были тогда очень сильными. Некоторые из этих мальчиков были довольно способными, но должен добавить, что, согласно принципу «noscitur a socio», ни один из них не стал впоследствии сколько-нибудь выдающимся человеком.

Что касается моих научных интересов, то я продолжал с большим усердием коллекционировать минералы, но делал это совершенно ненаучно – вся моя забота сводилась только к отыскиванию минералов с новыми названиями, но едва ли я пытался классифицировать их. С некоторым вниманием я, вероятно, наблюдал насекомых, ибо когда в десятилетнем возрасте (в 1819 году) я провел три недели на взморье в Плас-Эдвардсе в Уэльсе, я был сильно заинтересован и поражен, обнаружив какое-то крупное черно-красного цвета полужесткокрылое насекомое, много бабочек (Zygaena) и какую-то Cicindela, какие не водятся в Шропшире. Я почти настроился на то, чтобы собирать всех насекомых, которых мне удастся найти мертвыми, потому что, посоветовавшись с сестрой, пришел к заключению, что нехорошо убивать насекомых только для того, чтобы составить коллекцию их. Прочитав книгу Уайта «Селборн», я стал с большим удовольствием наблюдать за повадками птиц и даже делал заметки о своих наблюдениях. Помню, что в простоте моей я был поражен тем, почему каждый джентльмен не становится орнитологом.

Когда я заканчивал школу, мой брат усердно занялся химией и устроил в саду, в сарае для рабочих инструментов, неплохую лабораторию с соответствующими аппаратами; он позволил мне помогать ему в качество служителя при производстве большей части его опытов. Он приготовлял всевозможные газы и многие сложные соединения, и я внимательно прочитал несколько книг по химии, например «Chemical Catechism» Генри и Паркса. Химия сильно заинтересовала меня, и нередко наша работа затягивалась до поздней ночи. Это составило лучшее, что было в образовании, полученном мною в школьные годы, ибо здесь я на практике понял значение экспериментального знания. О том, что мы занимаемся химией, каким-то образом проведали в школе, и так как факт этот был совершенно беспримерным, меня прозвали «Газ». Однажды директор школы д-р Батлер сделал мне даже выговор в присутствии всех школьников за то, что я трачу время на такие бесполезные дела, и совершенно несправедливо назвал меня «poco curante» («легкомысленным»), а так как я не понял, что он имел в виду, то слова эти показались мне ужасным оскорблением.

Эдинбургский университет

Так как дальнейшее пребывание в школе было бесполезным для меня, отец благоразумно решил забрать меня оттуда несколько ранее обычного срока и отправил (в октябре 1825 года) вместе с моим братом в Эдинбургский университет, где я пробыл два учебных года. Мой брат заканчивал изучение медицины, хотя не думаю, чтобы он когда-либо имел действительное намерение занятья практикой, я же был послан туда, чтобы начать изучение ее. Но вскоре после того я пришел – на основании различных мелких фактов – к убеждению, что отец оставит мне состояние, достаточное для того, чтобы вести безбедную жизнь, хотя я никогда даже не представлял себе, что буду таким богатым человеком, каким стал теперь; этой уверенности оказалось, однако, достаточно для того, чтобы погасить во мне сколько-нибудь серьезное усердие в изучении медицины.

Преподавание в Эдинбурге осуществлялось преимущественно лекционным путем, и лекции эти, за исключением лекций Хопа по химии, были невыносимо скучны; по моему мнению, лекции не имеют по сравнению с чтением никаких преимуществ, а во многом уступают ему. Не без ужаса вспоминаю лекции д-ра Дункана по Materia medica, которые он читал зимою начиная с 8 часов утра. Д-р Монро сделал свои лекции по анатомии человека настолько же скучными, насколько скучным был он сам, и я проникся отвращением к этой науке. То обстоятельство, что никто не побудил меня заняться анатомированием, оказалось величайшей бедой в моей жизни, ибо отвращение я бы вскоре преодолел, между тем как занятия эти были бы чрезвычайно полезны для всей моей будущей работы. Эта беда была столь же непоправима, как и отсутствие у меня способности к рисованию. Я регулярно посещал также клинические палаты больницы. Некоторые случаи вызвали у меня тяжелые переживания, иные из них и сейчас еще живо стоят перед моими глазами, но я не был настолько глуп, чтобы из-за этого пропускать занятия.

Не могу понять, почему эта часть моего курса медицины не заинтересовала меня сильнее, ибо летом, перед тем как я отправился в Эдинбург, я начал наносить в Шрусбери визиты некоторым беднякам, леча преимущественно детей и женщин; я составлял по возможности более подробные отчеты о каждом случае с указанием всех симптомов болезни и прочитывал их вслух отцу, который подсказывал мне, какие дальнейшие сведения необходимо собрать и какие лекарства следует прописать; лекарства эти я сам и изготовлял. Однажды у меня было сразу по крайней мере двенадцать пациентов, и я испытывал острый интерес к работе. Мой отец, который в отношении характера людей был наилучшим судьей, какого я когда-либо встречал, говорил, что из меня получился бы весьма удачливый врач, разумея под этим такого врача, у которого будет много пациентов. Он утверждал, что главный залог успеха заключается в умении внушать доверие к себе; я не знаю, однако, какие качества он мог усмотреть во мне, которые привели его к убеждению, что я мог бы возбуждать доверие к себе. Дважды я посетил также операционный зал госпитальной больницы в Эдинбурге и присутствовал на двух очень тяжелых операциях, причем во время одной из них оперировали ребенка, но я сбежал, не дождавшись окончания их. Больше никогда уже я не ходил на операции, и вряд ли нашлась бы приманка столь притягательная, чтобы можно было с ее помощью заставить меня сделать это; то было задолго до благословенных дней хлороформа.

В течение очень многих лет эти две операции буквально преследовали меня.

Брат мой оставался в университете только в течение одного года а на второй год я был предоставлен самому себе, и в этом было известное преимущество, ибо я сблизился с несколькими молодыми людьми, интересовавшимися естествознанием. Одним из них был Эйнсуорт, опубликовавший впоследствии описание своих путешествий по Ассирии; геолог-вернерианец, он обладал кое-какими знаниями о многих вещах, но был человеком поверхностным и весьма

бойким на язык. Д-р Колдстрим был молодым человеком совсем другого типа: чопорный, церемонный, глубоко религиозный и очень добросердечный; впоследствии он опубликовал несколько хороших статей по зоологии. Третьим молодым человеком был Гарди, который, думаю, мог бы стать хорошим ботаником, но он рано умер в Индии. Наконец, д-р Грант, который был старше меня на несколько лет; не могу вспомнить, при каких обстоятельствах я познакомился с ним; он опубликовал несколько первоклассных работ по зоологии, но после того как он переехал в Лондон, где стал профессором Университетского колледжа, он ничего больше не сделал в науке – факт, всегда остававшийся для меня необъяснимым. Я хорошо знал его: он был сух и формален в обращении, но под этой наружной коркой скрывался подлинный энтузиазм. Однажды, когда мы гуляли с ним вдвоем, он разразился восторженной речью о Ламарке и его эволюционных воззрениях. Я выслушал его безмолвно и с удивлением, но, насколько я могу судить, его слова не произвели на мой ум никакого впечатления. Уже до этого я прочитал «Зоономию» моего деда, в которой отстаиваются подобные же воззрения, но и они не оказали на меня никакого воздействия. Тем не менее, вероятно, то обстоятельство, что уже в очень ранние годы моей жизни мне приходилось слышать, как поддерживаются и встречают высокую оценку такого рода воззрения, способствовало тому, что я и сам стал отстаивать их – в иной форме – в моем «Происхождении видов». В то время я очень восхищался «Зоономией», но, перечитав ее во второй раз через десять или пятнадцать лет, я был сильно разочарован крайне невыгодным соотношением между рассуждениями и приводимыми фактическими данными.

Доктора Грант и Колдстрим много занимались зоологией моря, и я часто сопровождал первого из них, собирая в лужах, остающихся после отлива, животных, которых анатомировал, как умел. Я подружился также с несколькими рыбаками из Ньюхейвена, время от времени отправлялся с ними на траловый лов устриц и таким путем добыл много экземпляров [различных животных]. Но так как я не имел никаких систематических навыков в анатомировании и обладал лишь очень плохоньким микроскопом, мои попытки [производить наблюдения] были весьма жалкими. Тем не менее я сделал одно интересное маленькое открытие и в начале 1826 года прочитал в Плиниевском обществе краткое сообщение по этому вопросу. Открытие заключалось в том, что так называемые яйца Flustra обладают способностью самостоятельно двигаться при помощи ресничек; в действительности это были личинки. В другом небольшом докладе я показал, что маленькие шаровидные тела, которые считались молодыми стадиями Fucus loreus, представляют собою яйцевые коконы (egg-cases) червеобразной Pontobdella muricata. Плиниевское общество пользовалось поддержкой профессора Джемсона и, как я полагаю, было им основано; оно состояло из студентов и собиралось в Университете, в комнате подвального этажа, для заслушания и обсуждения работ по естественным наукам. Я аккуратно посещал заседания Общества, и они оказались полезным для меня, так как стимулировали мое усердие и способствовали новым знакомствам с людьми, интересовавшимися, как и я, естествознанием. Как-то вечером один неудачливый молодой человек встал, невероятно долго заикался и, наконец, густо покраснев от смущения, с трудом вымолвил: «Господин председатель! Я забыл, что я хотел сказать». У бедняги был совершенно подавленный вид, а все члены Общества были до того удивлены, что никто не мог придумать, что бы такое сказать, чтобы прикрыть его смущение. Сообщения, которые читались в нашем маленьком Обществе, не публиковались, вследствие чего я не получил удовольствия увидеть свою статью в печати, но мне кажется, что д-р Грант упомянул о моем маленьком открытии в своем превосходном мемуаре о Flustra.

Я состоял также членом Королевского медицинского общества и довольно аккуратно посещал его заседания, но так как вопросы там обсуждались исключительно медицинские, они не очень интересовали меня. Много вздора говорилось там, но было и несколько хороших ораторов, и лучшим из них был ныне здравствующий сэр Дж. Кэй-Шаттлуорт. Иногда д-р Грант приглашал меня на заседания Вернеровского общества, где докладывались, обсуж-

дались и затем публиковались в «Трудах» («Transactions») Общества различные сообщения по естественной истории. Я слышал там Одюбона, прочитавшего несколько интересных лекций об образе жизни североамериканских птиц и не вполне справедливо посмеивавшегося над Уотертоном. Отмечу кстати, что в Эдинбурге жил один негр, путешествовавший с Уотертоном; он зарабатывал себе на жизнь набивкой чучел птиц и делал это превосходно; он давал мне платные уроки [по набивке чучел], и часто я засиживался у него подолгу, так как это был очень приятный и умный человек.

М-р Леонард Хорнер также пригласил меня однажды на заседание Эдинбургского королевского общества, где я увидел на председательском месте сэра Вальтера Скотта; он просил собравшихся извинить его за то, что занимает столь высокое место, ибо чувствует, что недостоин его. Я смотрел на него и на все происходящее с благоговением и трепетом; думаю, благодаря тому обстоятельству, что в молодости я присутствовал на этом заседании и посещал также заседания Королевского медицинского общества, избрание меня несколько лет назад почетным членом обоих этих Обществ показалось мне более лестным, чем любые другие подобные почести. Если бы мне сказали тогда, что когда-нибудь в будущем мне будет оказана эта честь, клянусь, мне показалось бы это не менее смешным и невероятным, чем если бы мне заявили, что я буду избран королем Англии.

В течение второго года моего пребывания в Эдинбурге я посещал лекции профессора Джемсона по геологии и зоологии, но они были невероятно скучны. Единственным результатом того впечатления, которое они произвели на меня, было решение никогда, пока я буду жив, не читать книг по геологии и вообще не заниматься этой наукой. И все же я уверен, что был подготовлен к тому, чтобы разумно судить об этом предмете: года за два или за три до того один старик, проживавший в Шропшире, м-р Коттон, неплохо знакомый с горными породами, указал мне на большой эрратический валун, находившийся в городе Шрусбери, – хорошо всем известный «Колокол-камень»; заметив, что до самого Камберленда или даже до Шотландии не найти камня той же самой горной породы, он стал с важным видом уверять меня, что мир придет к своему концу прежде, чем кто-нибудь сможет объяснить, каким образом этот камень оказался там, где он лежит ныне. Это произвело на меня сильное впечатление, и я не переставал размышлять об этом необычайном камне. Поэтому, когда я впервые прочитал о роли айсбергов в переносе валунов, я испытал чувство величайшего наслаждения и торжествовал по поводу успехов геологической науки. Столь же поразителен тот факт, что мне, которому сейчас только 67 лет, пришлось слышать, как профессор Джемсон, читая нам лекцию на Солсберийских скалах, говорил, что траповая дайка с миндалеобразными границами и отвердевшими со всех сторон пластами, расположенная в местности, где нас буквально окружали вулканические породы, представляет собою трещину, заполненную сверху осадочными отложениями; при этом он с усмешкой добавлял, что были-де люди, которые утверждали, что она была заполнена снизу расплавленной массой. Вспоминая об этой лекции, я не удивляюсь своему решению никогда не заниматься геологией.

Благодаря посещению лекций Джемсона я познакомился с хранителем музея м-ром Макджилливреем, который впоследствии опубликовал большую и превосходную книгу о птицах Шотландии. В его внешности и манерах было не очень-то много джентльменского. У нас было с ним много интересных бесед на естественноисторические темы; он был со мною очень добр и подарил мне несколько редких раковин, так как я собирал в то время коллекцию морских улиток, хотя занимался этим не очень усердно.

В течение этих двух лет мои летние каникулы были целиком посвящены развлечениям, хотя в руках у меня всегда была какая-нибудь книга, которую я с интересом читал. Летом 1826 года я совершил, вместе с двумя своими приятелями, большую пешеходную прогулку (с рюкзаками за спиной) по Северному Уэльсу. Почти ежедневно мы проходили по тридцати миль, а один день потратили на восхождение на Сноудон. Я совершил также со своей сестрой

Каролиной прогулку верхом на лошадях по Северному Уэльсу; седельные вьюки с нашим платьем вез за нами слуга. Осенние месяцы посвящались ружейной охоте – главным образом у м-ра Оуэна в Вудхаусе и у моего дяди Джоса в Мэре. Я проявлял [в отношении охоты] столь большое рвение, что, ложась спать, я ставил обычно свои охотничьи сапоги около самой кровати, чтобы, обуваясь утром, не потерять и полминуты. Однажды, 20 августа, собравшись на охоту за тетеревами, я еще затемно забрался на самую окраину территории Мэра и затем целый день пробирался с лесником сквозь гущу вереска и молодых сосен.

Я аккуратно записывал каждую птицу, застреленную мною в течение сезона. Как-то раз, охотясь в Вудхаусе с капитаном Оуэном, старшим сыном хозяина, и с его двоюродным братом майором Хиллом, впоследствии лордом Берик, которых я очень любил, я стал жертвой шутки: каждый раз, когда я, выстрелив, думал, что это я застрелил птицу, один из них делал вид, что заряжает ружье, и восклицал: «Эту птицу не принимайте в расчет, я стрелял одновременно с вами!» Слова их подтверждал лесник, который понял, в чем заключалась шутка. Через несколько часов они рассказали мне, как они подшутили надо мной, но для меня это не было шуткой, потому что я застрелил очень много птиц, но не знал, сколько именно, и не мог внести их в свой список, что я обычно делал, завязывая узелок на куске веревки, продетой сквозь пуговичную петлю. Это-то и заметили мои коварные друзья.

Какую радость доставляла мне охота! Но мне кажется, что я полусознательно стыдился своей страсти, так как старался убедить себя в том, что охота – своего рода умственное занятие: ведь она требует столько сноровки для того, чтобы судить, где больше всего найдешь дичи, и чтобы как следует натаскать собак.

Одно из моих осенних посещений Мэра в 1827 году памятно мне потому, что я встретил там сэра Дж. Макинтоша, который был наилучшим собеседником, какого мне приходилось когда-либо встречать. Узнав впоследствии, что он сказал обо мне: «В этом молодом человеке есть что-то такое, что заинтересовало меня», я сиял от гордости. Этим отзывом я обязан, должно быть, главным образом тому, что он заметил, с каким огромным интересом я вслушиваюсь буквально в каждое его слово – а я был невежественен, как поросенок, в тех вопросах истории, политики и морали, которых он касался. Думаю, что похвала со стороны выдающегося человека – хотя может возбудить и даже несомненно возбуждает тщеславие – полезна для молодого человека, так как помогает ему держаться правильного пути.

Мои посещения Мэра на протяжении этих двух или трех следовавших друг за другом лет были полны очарования даже независимо от осенней охоты. Жилось там очень привольно, местность позволяла совершать восхитительнейшие прогулки пешком или верхом, вечера проходили в исключительно приятных беседах, не носивших слишком личного характера, как это бывает обычно на больших семейных встречах, и перемежавшихся музыкой. Летом вся семья часто располагалась на ступенях старинного портика, перед которым в саду был разбит цветник; противоположный дому крутой, покрытый лесом берег отражался в озере, и то в одном, то в другом месте слышался всплеск воды, вызванный всплывшей вверх рыбой или коснувшейся поверхности воды птицей. Ничто не запечатлелось в моей памяти более ярко, чем эти вечера в Мэре. Я был очень привязан к дяде Джосу и благоговел перед ним; он был молчалив и сдержан, таких людей обычно побаиваются, но иногда он бывал со мною откровенен. Это был выраженный тип прямого человека, обладавшего способностью чрезвычайно ясного суждения.

Думаю, что никакая сила в мире не могла бы заставить его хотя бы на дюйм отклониться от того пути, который он считал правильным. Мысленно я не раз применял к нему известную оду Горация – теперь я уже забыл ее, – в которой имеются слова: «nec vultus tyranni» и т. д.

Кембридж

После того как я провел два учебных года в Эдинбурге, мой отец понял или узнал от моих сестер, что мне вовсе не улыбается мысль стать врачом, и поэтому предложил мне сделаться священником. Возможность моего превращения в праздного любителя спорта – а такая моя будущность казалась тогда вероятной – совершенно справедливо приводила его в страшное негодование. Я попросил дать мне некоторое время на размышление, потому что на основании тех немногих сведений и мыслей, которые были у меня на этот счет, я не мог без колебаний заявить, что верю во все догматы англиканской церкви; впрочем, в других отношениях мысль стать сельским священником нравилась мне. Я старательно прочитал поэтому книгу «Пирсон о вероучении» («Pearson on the Creed») и несколько других богословских книг, а так как у меня не было в то время ни малейшего сомнения в точной и буквальной истинности каждого слова Библии, то я скоро убедил себя в том, что наше вероучение необходимо считать полностью приемлемым. Меня совершенно не поражало, насколько нелогично говорить, что я верю в то, чего я не могу понять и что фактически [вообще] не поддается пониманию. Я мог бы с полной правдивостью сказать, что у меня не было никакого желания оспаривать ту или иную [религиозную] догму, но никогда не был я таким дураком, чтобы чувствовать или говорить: «Credo quia incredibile».

Если вспомнить, как свирепо нападали на меня представители церкви, кажется забавным, что когда-то я и сам имел намерение стать священником. Мне не пришлось даже заявить когда-либо формальный отказ от этого намерения и от выполнения желания моего отца: они умерли естественной смертью, когда я, закончив образование в Кембридже, принял участие в экспедиции на «Бигле» в качестве натуралиста. Если френологи заслуживают доверия, то в одном отношении я очень подходил для того, чтобы стать священником. Несколько лет назад я получил письмо от секретарей одного германского психологического общества, в котором они убедительно просили меня прислать им мою фотографию, а спустя некоторое время я получил протокол заседания, на котором, по-видимому, предметом публичного обсуждения был форма моей головы, и один из выступавших заявил, что шишка благоговения развита у меня настолько сильно, что ее хватило бы на добрый десяток священников.

Поскольку было решено, что я стану священником, мне необходимо было поступить в один из английских университетов, чтобы получить ученую степень; но так как с того времени, как я оставил школу, я ни разу не раскрыл ни одной греческой или латинской книги, то, к своему ужасу, я обнаружил, что за два года, прошедшие с тех пор, я, как это ни покажется невероятным, совершенно забыл почти все, чему меня учили, даже некоторые греческие буквы. Я не отправился поэтому в Кембридж в обычное время, в октябре, а стал заниматься с частным преподавателем в Шрусбери и поехал в Кембридж после рождественских каникул, в самом начале 1828 года. Вскоре я восстановил свой школьный уровень знаний и сравнительно легко мог переводить нетрудные греческие книги, например, Гомера и Евангелие на греческом языке.

Три года, проведенные мною в Кембридже, были в отношении академических занятий настолько же полностью затрачены впустую, как годы, проведенные в Эдинбурге и в школе. Я пытался заняться математикой и даже отправился для этого в Бармут летом 1828 года с частным преподавателем (очень тупым человеком), но занятия мои шли крайне вяло. Они вызывали у меня отвращение главным образом потому, что я не в состоянии был усмотреть какой-либо смысл в первых основаниях алгебры. Это отсутствие у меня терпения было очень глупым, и впоследствии я глубоко сожалел о том, что не продвинулся по крайней мере настолько, чтобы уметь хотя бы немного разбираться в великих руководящих началах математики, ибо люди, овладевшие ею, кажутся мне наделенными каким-то добавочным орудием разума («extra sense»). Не думаю, впрочем, чтобы я когда-либо мог добиться успеха за пределами элемен-

тарной математики. Что касается греческих и латинских авторов, то здесь я ничего не делал, кроме того, что посещал, да и то почти номинально, некоторые обязательные университетские лекции. На втором году обучения мне пришлось месяц или два поработать, чтобы сдать Little-Go, что далось мне легко. Также и в последнем учебном году я довольно основательно подготовился к заключительному экзамену на степень бакалавра искусств, освежив в памяти своих греческих и латинских классиков и в небольшом размере алгебру и Эвклида; последний, как и когда-то в школе, доставил мне много удовольствия. Для сдачи экзамена на степень бакалавра искусств необходимо было также изучить сочинения Пейли «Основания христианства» («Evidences of Christianity») и «Нравственная философия» («Moral Phylosophy»). Я проделал это самым тщательным образом и убежден, что мог бы по памяти полностью изложить «Основания» и притом очень точно, но, разумеется, не таким ясным языком, как у Пейли. Логика этой книги и, могу прибавить еще, его «Натуральной теологии» («Natural Theology») доставила мне такое же удовольствие, как Эвклид. Тщательное изучение этих трудов, без попытки заучить какой-либо раздел наизусть, было единственной частью академического курса, которая, как мне казалось тогда и как я убежден и теперь, была хоть сколько-нибудь полезна для воспитания моего ума. В то время предпосылки Пейли меня нисколько не интересовали, я принимал их на веру, очарованный и убежденный длинной цепью доказательств. Неплохо ответив на экзаменационные вопросы из Пейли, хорошо сдав Эвклида и не очень оскандалившись по части греческих и латинских авторов, я добился хорошего места среди oi polloi, т. е. того множества людей, которые не гонятся за почестями. Хотя это и достаточно странно, но я не могу вспомнить, насколько высокое место заняла в списке моя фамилия: меня разбирают сомнения – пятое, десятое или двенадцатое.

В Университете читались по различным отраслям знания публичные лекции, посещение которых было вполне добровольным, но мне уже так осточертели лекции в Эдинбурге, что я не ходил даже на красноречивые и интересные лекции Седжвика. Если бы я посещал их, то стал бы, вероятно, геологом раньше, чем это случилось в действительности. Я посещал, однако, лекции Генсло по ботанике, и они очень нравились мне, так как отличались исключительной ясностью изложения и превосходными демонстрациями; но ботанику я не изучал. Генсло имел обыкновение совершать со своими учениками, в том числе и с более старыми членами Университета, полевые экскурсии – пешком, в отдаленные места – в каретах и вниз по реке – на баркасе, – и во время этих экскурсий читал лекции о более редких растениях и животных, которых удавалось наблюдать. Экскурсии эти были восхитительны.

Хотя, как мы сейчас увидим, в моей кембриджской жизни были и некоторые светлые стороны, время, которое я провел в Кембридже, было всерьез потеряно, и даже хуже, чем потеряно. Моя страсть к ружейной стрельбе и охоте, а если это не удавалось осуществить, то к прогулкам верхом по окрестностям, привела меня в кружок любителей спорта, среди которых было несколько молодых людей не очень высокой нравственности. По вечерам мы часто вместе обедали, хотя, надо сказать, на этих обедах нередко бывали люди более дельные; по временам мы порядочно выпивали, а затем весело пели и играли в карты. Знаю, что я должен стыдиться дней и вечеров, растраченных подобным образом, но некоторые из моих друзей были такие милые люди, а настроение наше бывало таким веселым, что не могу не вспоминать об этих временах с чувством большого удовольствия.

Но мне приятно вспоминать, что у меня было много и других друзей, совершенно иного рода. Я был в большой дружбе с Уитли, который впоследствии стал лауреатом Кембриджского университета по математике, мы постоянно совершали с ним долгие прогулки. Он привил мне вкус к картинам и хорошим гравюрам, и я приобрел несколько экземпляров. Я часто бывал в Галерее Фицуильяма, и у меня, видимо, был довольно хороший вкус, ибо я восхищался, несомненно, лучшими картинами и обсуждал их со старым хранителем Галереи. С большим интересом прочитал я также книгу сэра Джошуи Рейнольдса. Вкус этот, хотя и не был прирож-

денным, сохранялся у меня на протяжении нескольких лет, и многие картины в Национальной галерее в Лондоне доставляли мне истинное наслаждение, а одна картина Себастьяна дель Пьомбо возбудила во мне чувство величественного.

Я бывал также в музыкальном кружке, кажется, благодаря моему сердечному другу Герберту, окончившему Университет с высшим отличием по математике. Общаясь с этими людьми и слушая их игру, я приобрел определенно выраженный вкус к музыке и стал весьма часто распределять свои прогулки так, чтобы слушать в будние дни хоралы в церкви Колледжа короля (King's College). Я испытывал при этом такое интенсивное наслаждение, что по временам у меня пробегала дрожь по спинному хребту. Я уверен, что в этом моем чувстве не было ни аффектации, ни простого подражания, ибо обычно я ходил в Колледж короля совершенно один, иногда же я нанимал мальчиков-хористов, и они пели у меня в комнате. Тем не менее я до такой степени лишен музыкального слуха, что не замечаю диссонанса, не могу правильно отбивать такт и не в состоянии верно напеть про себя хоть какую-нибудь мелодию, и для меня остается тайной, каким образом я мог получать удовольствие от музыки.

Мои музыкальные друзья вскоре подметили во мне эту особенность и по временам забавлялись, устраивая мне экзамен, для того чтобы установить, сколько мелодий смогу я узнать, если их исполняли несколько быстрее или медленнее, чем следовало. Гимн «Боже, храни короля», сыгранный таким образом, становился для меня мучительной загадкой. Был там еще один обладатель почти такого же плохого слуха, как у меня, но, как это ни странно, он немного играл на флейте. Однажды на мою долю выпал триумф: на одном из наших музыкальных экзаменов я одержал над ним верх.

Но ни одному занятию не предавался я в Кембридже даже приблизительно с такой огромной страстью, ничто не доставляло мне такого удовольствия, как коллекционирование жуков. Это была именно одна лишь страсть к коллекционированию, так как я не анатомировал их, редко сверял их внешние признаки с опубликованными описаниями, а названия их устанавливал как попало. Приведу доказательство моего рвения в этом деле. Однажды, сдирая с дерева кусок старой коры, я увидел двух редких жуков и схватил каждой рукой по одному из них, но тут я увидел третьего, какого-то нового рода, которого я никак не в состоянии был упустить, и я сунул того жука, которого держал в правой руке, в рот. Увы! Он выпустил какую-то чрезвычайно едкую жидкость, которая так обожгла мне язык, что я вынужден был выплюнуть жука, и я потерял его, так же как и третьего.

Коллекционирование шло у меня очень успешно, причем я изобрел два новых способа [собирания жуков]: я нанял работника, которому поручил соскребывать в течение зимы мох со старых деревьев и складывать его в большой мешок, а также собирать мусор со дна барок, на которых привозят с болот тростник; таким образом я приобрел несколько очень редких видов. Никогда ни один поэт не испытывал при виде первого своего напечатанного стихотворения большего восторга, чем я, когда я увидал в книге Стивенса «Изображения британских насекомых» («Illustrations of British Insects») магические слова: «Пойман Ч. Дарвином, эсквайром». С энтомологией меня познакомил мой троюродный брат У. Дарвин-Фокс, способный и чрезвычайно приятный человек: он учился тогда в Колледже Христа (Christ's College), и мы с ним очень близко подружились. Позднее я близко познакомился с Олбертом Уэем из Колледжа троицы (Trinity College), вместе с которым мы ходили собирать насекомых; спустя много лет он стал известным археологом; сблизился я также с Г. Томпсоном (H. Thompson) из того же Колледжа, впоследствии ставшим выдающимся агрономом, управляющим большой железной дорогой и членом парламента. Отсюда, по-видимому, следует, что страсть к собиранию жуков служит некоторого рода указанием на будущий успех в жизни!

Удивительно, какое неизгладимое впечатление оставили во мне многие жуки, пойманные мною в Кембридже. Я могу восстановить в памяти точный вид некоторых столбов, старых деревьев и береговых обрывов, где мне удалось сделать удачные находки. Изящный Panagaeus

cruxmajor был в те времена настоящим сокровищем; как-то здесь, в Дауне, я увидел жука, перебегавшего через дорожку, и, поймав ого, сразу заметил, что он незначительно отличается от P. cruxmajor; оказалось, что это P. quadripunctatus, представляющий собою лишь разновидность P. cruxmajor или близко родственный ему вид, незначительно отличающийся от него по своим очертаниям. В те давние времена мне ни разу не пришлось увидеть живого Licinus, который для неопытного глаза кажется почти ничем не отличающимся от многих других черных Carabidae, но когда мои сыновья нашли здесь экземпляр Licinus, я сразу же заметил, что это новый для меня вид, а между тем вот уже двадцать лет, как я ни разу не взглянул ни на одного британского жука.

Я не упомянул до сих пор об одном обстоятельстве, которое повлияло на всю мою карьеру больше, чем что-либо другое. Речь идет о моей дружбе с профессором Генсло. Еще до того, как я оказался в Кембридже, мой брат говорил мне о нем как о человеке, сведущем во всех областях науки, и я был таким образом подготовлен к тому, чтобы отнестись к нему с благоговением. Раз в неделю, по вечерам, он устраивал у себя дома открытый прием для всех студентов последнего курса и некоторых более старых членов Университета, интересовавшихся естествознанием. Вскоре я получил через Фокса приглашение к Генсло и стал регулярно бывать у него. Через короткое время я тесно сблизился с Генсло и во вторую половину своего пребывания в Кембридже почти ежедневно совершал с ним длительные прогулки, вследствие чего некоторые члены Колледжа называли меня «Тот, который гуляет с Генсло»; по вечерам он часто приглашал меня на обед к себе домой. Он обладал обширными познаниями в ботанике, энтомологии, химии, минералогии и геологии. У него была сильно выраженная наклонность строить заключения на основании длинного ряда мелких наблюдений. Суждения его были блестящи, а ум отличался замечательной уравновешенностью, но, мне кажется, едва ли кто-нибудь стал бы утверждать, что он был в большой мере наделен даром оригинального творчества.

Он был глубоко религиозен и до такой степени ортодоксален, что, как он однажды заявил мне, он был бы страшно расстроен, если бы в Тридцати девяти догматах было изменено хотя бы одно слово. Нравственные качества его были во всех отношениях изумительно высоки. Он был совершенно лишен даже какого бы то ни было оттенка тщеславия или другого мелкого чувства; никогда не видал я человека, который так мало думал бы о себе и своих личных интересах. Он был человек спокойного и доброго нрава, обаятелен и вежлив в обращении, и тем не менее, как мне самому приходилось видеть, какой-либо дурной поступок мог вызвать у него самое бурное негодование и решительные действия. Проходя с ним однажды по улицам Кембриджа, я увидел сцену почти столь же ужасную, как те, какие бывали во времена Французской революции. Двух похитителей трупов арестовали и вели в тюрьму, как вдруг толпа хулиганов отбила их у полицейского и поволокла за ноги по грязной булыжной мостовой. Они были с головы до ног покрыты грязью, а лица их были окровавлены – оттого ли, что их пинали по лицу ногами, или от ударов о камни; они были похожи на мертвецов – правда, толпа вокруг них была так густа, что я мог только несколько раз мельком взглянуть на этих несчастных людей. Никогда в жизни не видел я на человеческом лице выражения такого страшного возмущения, какое было на лице Генсло при виде этой ужасной сцены. Несколько раз он пытался пробиться сквозь толпу, но это было совершенно невозможно. Тогда он помчался к мэру, сказав мне, чтобы я не следовал за ним, а нашел бы еще нескольких полицейских. Я забыл уже, чего мы добились, помню только, что обоих доставили в тюрьму прежде, чем их успели убить.

Благотворительность Генсло была безгранична; он доказал это множеством прекрасных начинаний в пользу бедняков своего прихода, когда впоследствии стал священником в Хитчеме. Близость с таким человеком должна была принести и, я думаю, действительно принесла мне неоценимую пользу. Не могу не упомянуть об одном незначительном случае, показывающем его мягкость и внимание к людям. Рассматривая зерна пыльцы, положенные на влажную поверхность, я заметил, что некоторые из них выпустили трубки, и тотчас же помчался сооб-

щить Генсло о своем удивительном открытии. Полагаю, что любой другой профессор ботаники не удержался бы от смеха, если бы я явился с такой поспешностью, чтобы сделать подобное сообщение. Он же согласился со мною, что явление это очень интересно, и объяснил мне его значение, дав мне ясно понять при этом, что оно хорошо известно; в результате я ушел от него ни в какой мере не уязвленный, а, наоборот, весьма довольный тем, что мне удалось самому открыть столь замечательный факт, однако я решил больше не спешить так с сообщениями о своих открытиях.

Среди известных и уже немолодых людей, посещавших иногда Генсло, был д-р Юэлл, с которым мне пришлось несколько раз возвращаться вместе ночью домой. Как и сэр Дж. Макинтош, Юэлл умел разговаривать о серьезных предметах лучше всех, кого мне когда-либо приходилось слышать. Часто гостил у Генсло его шурин Леонард Дженинс (внук прославленного Соума Дженинса), опубликовавший впоследствии несколько хороших работ по естественной истории. Сначала он не нравился мне из-за своего несколько мрачного и саркастического выражения лица; редко бывает, чтобы первое впечатление исчезло, но я полностью ошибся, обнаружив, что это очень мягкосердечный и приятный человек с немалой дозой юмора. Я бывал у него в его доме приходского священника, находившемся на самой границе Фенов, и совершил с ним немало славных прогулок и провел немало интересных бесед по вопросам естественной истории. Познакомился я также с некоторыми другими людьми, старшими меня по возрасту, которые не очень интересовались естествознанием, но были друзьями Генсло. Был среди них один шотландец, брат сэра Александра Рамси, состоявший наставником в Колледже Иисуса (Jesus College); это был обаятельный человек, но прожил он недолго. Другой был м-р Дос (Dawes), впоследствии состоявший деканом (настоятелем собора) в Херефорде; он прославился своими успехами в обучении бедняков. Эти люди и другие того же круга устраивали иногда вместе с Генсло далекие экскурсии по окрестностям; мне разрешалось принимать участие в этих экскурсиях, которые были в высшей степени приятны.

Вспоминая прошлое, я прихожу к заключению, что, должно быть, было во мне что-то, несколько возвышавшее меня над общим уровнем молодежи, иначе все эти люди, которые были намного старше меня и по возрасту, и по академическому положению, вряд ли пожелали бы встречаться со мною. Разумеется, я не сознавал за собою какого-либо превосходства; помню, один из моих друзей по спорту, Тернер, увидев, как я вожусь со своими жуками, сказал, что когда-нибудь я стану членом Королевского общества, но это его замечание показалось мне абсурдным.

В последний год моего пребывания в Кембридже я с большим вниманием и глубоким интересом прочитал «Личное повествование» («Personal Narrative») Гумбольдта. Это сочинение и «Введение в изучение естествознания» («Introduction to the Study of Natural Philosophy») сэра Дж. Гершеля пробудили во мне пылкое стремление внести хотя бы самый скромный вклад в благородное здание наук о природе. Ни одна другая книга, ни даже целая дюжина их не произвели на меня даже и приблизительно такого сильного впечатления, как эти две книги. Я выписал из Гумбольдта длинные выдержки о Тенерифе и на одной из упомянутых выше экскурсий прочитал их вслух, если не ошибаюсь, Генсло, Рамси и Досу, так как на одной из предыдущих экскурсий я рассказывал о красотах Тенерифа и некоторые из участников экскурсии заявили, что они попытаются съездить туда. Думаю, что они говорили это полушутя, но мои намерения были совершенно серьезны, и я даже получил рекомендацию к одному лондонскому купцу, чтобы раздобыть у него справки относительно кораблей; но этот замысел, разумеется, совершенно отпал из-за моего путешествия на «Бигле».

Летние каникулы я посвящал коллекционированию жуков, чтению и непродолжительным экскурсиям. Осенью все мое время отдавалось охоте главным образом в Вудхаусе и Мэре, иногда же я охотился в Эйтоне с молодым Эйтоном. В целом, три года, проведенные мною в

Кембридже, были самыми радостными годами в моей счастливой жизни: здоровье мое было тогда превосходным и почти всегда я пребывал в самом лучшем расположении духа.

Так как впервые я приехал в Кембридж после рождества, то мне надлежало пробыть там еще два семестра после того, как я в начале 1831 года сдал свой последний экзамен, и тогда Генсло убедил меня приступить к изучению геологии. Поэтому по возвращении в Шропшир я занялся изучением [геологических] разрезов окрестностей Шрусбери и составил раскрашенную карту их. Профессор Седжвик имел намерение посетить в начале августа Северный Уэльс, чтобы продолжить свои знаменитые геологические исследования древнейших горных пород, и Генсло просил Седжвика разрешить мне сопровождать его. Этим и объясняется, что Седжвик приехал к нам и переночевал в доме моего отца.

Краткая беседа с ним в тот вечер произвела на меня глубокое впечатление. Как-то, когда я исследовал старые разработки гравия близ Шрусбери, один рабочий рассказал мне, что он нашел здесь большую стертую тропическую раковину Voluta, вроде тех, какие нередко можно видеть в коттеджах на полках каминов, и так как он не соглашался продать эту раковину, я был убежден, что он действительно нашел ее в этой яме. Я рассказал об этом Седжвику, но он сразу же возразил мне (без всякого сомнения, справедливо), что раковина была, вероятно, выброшена кем-нибудь в яму, а затем добавил, что если бы она естественным образом залегала в этих пластах, то это явилось бы величайшим несчастьем для геологии, так как опрокинуло бы все наши представления о поверхностных отложениях в Центральных графствах. И действительно, эти пласты гравия относятся к ледниковому периоду, и впоследствии я находил в них изломанные раковины северных моллюсков. Но тогда я был крайне удивлен, когда увидел, что Седжвик не пришел в восхищение от такого чудесного факта, как находка тропической раковины близ самой поверхности земли в центре Англии. Хотя я прочитал уже много разных научных книг, ничто когда-либо раньше не дало мне возможности с такой отчетливостью понять, что наука заключается в такой группировке фактов, которая позволяет выводить на основании их общие законы или заключения.

На другое утро мы начали свое путешествие по маршруту Лланголлен, Конуэй, Бангор и Кэйпл-Кьюриг. Это путешествие принесло мне определенную пользу, научив меня в некоторой степени тому, каким образом можно разобраться в геологии той или иной страны. Седжвик часто посылал меня по направлению, параллельному тому, по которому шел сам, поручая мне собрать образцы горных пород и нанести на карту порядок их залегания. Я почти не сомневаюсь, что он делал это для моей пользы, так как я был слишком несведущ, чтобы мог оказать помощь ему. Это путешествие дало мне разительный пример того, как легко проглядеть даже самые заметные явления, если на них уже не обратил внимание кто-нибудь другой. Мы провели много часов в Кумбран-Идуоле, самым тщательным образом исследуя все горные породы, так как Седжвику очень хотелось найти в них остатки ископаемых организмов; однако ни один из нас не заметил следов замечательных ледниковых явлений, окружавших нас со всех сторон: мы не заметили ни отчетливых шрамов на скалах, ни нагромождений валунов, ни боковых и конечной морен. Между тем эти явления настолько очевидны, что, как я заявлял в одной статье, напечатанной много лет спустя в «Philosophical Magazine», дом, сгоревший во время пожара, не расскажет о том, что с ним произошло, более ясно, чем эта долина. Если бы она все еще была заполнена ледником, эти явления были бы выражены менее отчетливо, чем теперь.

В Кэйпл-Кьюриге я расстался с Седжвиком и направился по прямой линии через горы в Бармут, определяя курс по компасу и карте и не пользуясь тропинками, если они не совпадали со взятым мною направлением. Я побывал благодаря этому в неведомых, диких местах и получил большое удовольствие от такого способа путешествовать. Бармут я посетил с целью повидать некоторых своих кембриджских друзей, которые занимались там преподаванием; оттуда я вернулся в Шрусбери и Мэр, чтобы приступить к охоте, ибо в те времена я счел бы себя

сумасшедшим, если бы пропустил первые дни охоты на куропаток ради геологии или какой-нибудь другой науки.

Путешествие на «Бигле»

Вернувшись домой после моей непродолжительной геологической поездки по Северному Уэльсу, я нашел письмо от Генсло, извещавшее меня, что капитан Фиц-Рой готов уступить часть своей собственной каюты какому-нибудь молодому человеку, который согласился бы добровольно и без всякого вознаграждения отправиться с ним в путешествие на «Бигле» в качестве натуралиста. В моем рукописном «Дневнике» я, как мне кажется, рассказал обо всех событиях, происшедших в те дни: здесь скажу только, что я готов был тут же принять предложение, но мой отец решительно возражал против этого, добавив, впрочем, слова, оказавшиеся счастливыми для меня: «Если ты сумеешь найти хоть одного здравомыслящего человека, который посоветует тебе ехать, я дам свое согласие». Однако я в тот же вечер написал о своем отказе принять предложение, а на другое утро поехал в Мэр, чтобы быть готовым 1 сентября [начать охоту]. Я был на охоте, когда за мной прислал мой дядя: он предложил мне поехать с ним в Шрусбери, чтобы переговорить с моим отцом, так как считал, что я поступил бы благоразумно, приняв предложение. Отец всегда утверждал, что дядя – один из самых благоразумных людей на свете, и поэтому сразу дал свое согласие в самой ласковой форме. В Кембридже я был довольно неумерен в расходах, и, чтобы утешить отца, я сказал, что «должен был бы быть чертовски способным, чтобы, находясь на борту „Бигля“, тратить больше, чем я буду получать», на что отец возразил, улыбаясь: «Да ведь все они и говорят, что ты очень способен!»

На следующий день я отправился в Кембридж, чтобы повидать Генсло, а оттуда – в Лондон, чтобы встретиться с Фиц-Роем, и вскоре все было улажено. Когда впоследствии мы сблизились с Фиц-Роем, он рассказал мне, что я очень серьезно рисковал быть отвергнутым из-за формы моего носа! Горячий последователь Лафатера, он был убежден, что может судить о характере человека по чертам его лица, и сомневался в том, чтобы человек с таким носом, как у меня, мог обладать энергией и решимостью, достаточными для того, чтобы совершить путешествие.

Думаю, однако, что впоследствии он вполне убедился в том, что мой нос ввел его в заблуждение.

У Фиц-Роя был очень своеобразный характер. Он обладал многими благородными чертами: был верен своему долгу, чрезвычайно великодушен, смел, решителен, обладал неукротимой энергией и был искренним другом всех, кто находился под его началом. Он не останавливался ни перед какими хлопотами, чтобы помочь тому, кто, по его мнению, был достоин помощи. Это был статный, красивый человек, вполне выдержанный тип джентльмена, изысканно вежливый в обращении, напоминавший своими манерами, как говорил мне посол в Рио, своего дядю со стороны матери – знаменитого лорда Каслри. Вместе с тем он, должно быть, много унаследовал в своей внешности от Карла II – д-р Уоллич подарил мне коллекцию изготовленных им фотографий, и я был поражен сходством одного портрета с Фиц-Роем; посмотрев на подпись, я увидел, что это Ч. Э. Собеский Стюарт, граф д'Олбени, который был незаконным потомком названного монарха.

Нрав у Фиц-Роя был самый несносный, и это проявлялось не только во вспышках гнева, но и в продолжительных приступах брюзгливости по отношению к тем, кто его обидел. Обычно он бывал особенно невыносим по утрам: своими орлиными глазами он всегда замечал какое-нибудь упущение на корабле, и тогда он не сдерживал гнева. Утром, сменяя друг друга, младшие офицеры обычно спрашивали: «Много ли чашек горячего кофе было выпито [капитаном] сегодня?», что значило – в каком настроении капитан? Он был также несколько подозрителен и то и дело пребывал в дурном настроении, а однажды почти впал в безумие. Мне часто

казалось, что ему не хватает трезвости в суждениях и здравого смысла. Ко мне он относился очень хорошо, но ужиться с этим человеком при той близости, которая была неизбежна для нас, обедавших за одним столом вдвоем с ним в его каюте, было трудно. Несколько раз мы ссорились, ибо, впадая в раздражение, он совершенно терял способность рассуждать. Так, в самом начале путешествия, когда мы были в Баие в Бразилии, он стал защищать и расхваливать рабство, к которому я испытывал отвращение, и сообщил мне, что он только что побывал у одного крупного рабовладельца, который созвал [при нем] своих рабов и спросил их, счастливы ли они и хотят ли получить свободу, на что все они ответили: «Нет!» Тогда я спросил его, должно быть, не без издевки, полагает ли он, что ответ рабов, данный в присутствии их хозяина, чего-нибудь стоит? Это страшно разозлило его, и он сказал мне, что, раз я не доверяю его словам, мы не можем больше жить вместе. Я думал, что вынужден буду покинуть корабль, но как только известие о нашей ссоре распространилось – а распространилось оно быстро, так как капитан послал за своим первым помощником, чтобы в его присутствии излить свой гнев, всячески ругая меня, – я, к величайшему своему удовлетворению, получил приглашение от всех офицеров обедать с ними в их кают-кампании. Однако через несколько часов Фиц-Рой проявил обычное свое великодушие, послав ко мне офицера, который передал мне его извинения и просьбу по-прежнему обедать с ним. Вспоминаю и другой случай, характеризующий его искренность. В Плимуте, до того как мы отправились в плавание, он страшно разозлился на торговца посудой, который отказался обменять некоторые предметы, купленные у него в лавке. Тогда капитан спросил у него цену одного очень дорогого фарфорового сервиза и сказал: «Я приобрел бы его, если бы вы не были так нелюбезны». Так как я знал, что в каюте [капитана] имеется обильный запас посуды, я усомнился в том, чтобы у него действительно было такое намерение; я не произнес ни слова, но, должно быть, мое сомнение отразилось у меня на лице. Когда мы вышли из лавки, он взглянул на меня и сказал: «Вы не поверили моим словам!»; я вынужден был признать, что это так. Несколько минут он молчал, а затем сказал: «Вы правы, из-за моего гнева на этого подлеца я поступил неправильно».

В Консепсьоне, в Чили, бедный Фиц-Рой страшно переутомился и был в очень дурном настроении. Он горько жаловался мне, что должен устроить большой вечер для всех местных жителей. Я возразил, сказав, что при данных обстоятельствах нет необходимости делать это. Тогда он пришел в ярость и заявил, что я такого сорта человек, который примет любое одолжение и ничем за него не отплатит. Ни слова не произнеся, я встал, вышел из каюты и вернулся в Консепсьон, где жил тогда. Через несколько дней я вернулся на корабль и был принят капитаном с обычной сердечностью, так как к этому времени буря полностью миновала. Однако первый помощник сказал мне: «Черт вас побери, Философ, лучше бы вы не ссорились со шкипером! В тот день, когда вы ушли с корабля, я смертельно устал (корабль находился в ремонте), а он заставил меня до полуночи шататься с ним по палубе и все время бранился по вашему адресу».

Трудность поддерживать хорошие отношения с капитаном военного корабля значительно возрастает из-за того, что ответить ему так, как вы ответили бы любому другому человеку, – значит почти оказаться мятежником, а также из-за того трепета, который испытывают перед ним (по крайней мере, испытывали в те времена, когда я плавал) все находящиеся на корабле. Помню один любопытный случай, который мне рассказали об экономе корабля «Эдвенчюр», вместе с которым «Бигль» совершил свое первое плавание. В одном из магазинов в Рио-де-Жанейро этот эконом закупал ром для команды корабля, как вдруг в магазин вошел какой-то маленький господин в штатском. Эконом обратился к нему: «Будьте добры, сэр, попробуйте этот ром и скажите мне свое мнение о нем». Господин выполнил то, о чем его просили, и вскоре вышел из магазина. Тогда хозяин магазина спросил экономa, знает ли тот, что он обратился к капитану линейного корабля, только что вошедшего в гавань? Бедный эконом онемел от ужаса, стакан с ромом упал из его рук на пол, он тотчас же отправился на свой корабль, и никакие

доводы, как уверял меня офицер с «Эдвенчюра», не могли заставить его сойти на берег, так как он опасался встретиться с капитаном после своего ужасного по фамильярности поступка.

По возвращении на родину я лишь изредка встречался с Фиц-Роем, ибо всегда боялся как-нибудь неумышленно вызвать его раздражение, и все же это случилось однажды, причем взаимное примирение стало уже почти невозможным. Впоследствии он негодовал на меня за то, что я издал столь кощунственную книгу (он стал очень религиозным), как «Происхождение видов». К концу своей жизни он, кажется, совершенно разорился, что произошло в значительной степени из-за его щедрости. Во всяком случае, после его смерти была устроена подписка для уплаты его долгов. Конец его жизни был мрачен – он покончил самоубийством, точно так же как его дядя, лорд Каслри, на которого он так походил манерами и внешностью. Во многих отношениях это был человек самого благородного характера, человек, какого мне редко случалось встречать, однако характер его портили и серьезные недостатки.

Путешествие на «Бигле» было самым значительным событием моей жизни, определившим весь мой дальнейший жизненный путь, а между тем судьба его зависела от столь малого обстоятельства, как предложение моего дяди доставить меня за тридцать миль в Шрусбери – не всякий дядя поступил бы так, – и от такого пустяка, как форма моего носа. Я всегда считал, что именно путешествию я обязан первым подлинным диспиплинированием, т. е. воспитанием, моего ума; я был поставлен в необходимость вплотную заняться несколькими разделами естественной истории, и благодаря этому мои способности к наблюдению усовершенствовались, хотя они уже и до того времени были неплохо развиты.

Особенно большое значение имело геологическое исследование всех посещенных мною районов, так как при этом приходилось пускать в ход всю свою способность к рассуждению. При первом ознакомлении с какой-либо новой местностью ничто не кажется более безнадежно запутанным, чем хаос горных пород; но если отмечать залегание и характер горных пород и ископаемых во многих точках, все время при этом размышляя [над собранными данными] и стараясь предугадать, что может быть обнаружено в различных других точках, то вскоре хаос местности начинает проясняться и строение целого становится более или менее понятным. Я взял с собою первый том «Основ геологии» («Principles of Geology») Лайеля и внимательно изучил эту книгу, которая принесла мне величайшую пользу во многих отношениях. Уже самое первое исследование, произведенное мною в Сант-Яго на островах Зеленого мыса, ясно показало мне изумительное превосходство метода, примененного Лайелем в трактовке геологии, по сравнению с методами всех других авторов, работы которых я взял с собою или прочитал когда-либо впоследствии.

Другим моим занятием было коллекционирование животных всех классов, краткое описание их и грубое анатомирование многих морских животных; однако из-за моего неумения рисовать и отсутствия у меня достаточных знаний по анатомии значительная доля рукописных заметок, сделанных мною во время путешествия, оказалась почти бесполезной. Я потерял вследствие этого много времени, не пропало зря только то время, которое я затратил на приобретение некоторых знаний о ракообразных, ибо знания эти оказали мне помощь, когда в последующие годы я предпринял составление монографии об усоногих раках.

Некоторую часть дня я посвящал составлению моего «Дневника», затрачивая при этом много усилий на то, чтобы точно и живо описать все, что мне пришлось увидеть, – упражнение, оказавшееся полезным. Мой «Дневник» частично был также использован мною в виде писем к родным, и отдельные части его я отсылал в Англию, как только для этого представлялся удобный случай.

Однако различные специальные занятия, перечисленные выше, не имели почти никакого значения по сравнению с приобретенной мною в то время привычкой к энергичному труду и сосредоточенному вниманию в отношении любого дела, которым я бывал занят. Все, о чем я размышлял или читал, было непосредственно связано с тем, что я видел или ожидал увидеть, и

такой режим умственной работы продолжался в течение всех пяти лет путешествия. Я уверен, что именно приобретенные таким образом навыки позволили мне осуществить все то, что мне удалось сделать в науке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.